

ДИСКУССИИ В ДИСЦИПЛИНЕ: С «ЗАПАДА» НА «ВОСТОК» И ОБРАТНО?

*Feminism не переводится:
российские гендерные исследования
и межкультурный перенос в 90-е и далее*

Кэрол Эдлэм

На первый взгляд, может показаться, что западные понятия *feminism*, *women's studies* и, шире, *gender studies* легко переводимы в русский дискурс – как термины *феминизм*, *женские исследования* и *гендерология* соответственно. В период с начала 1990-х и до сегодняшнего дня все они уверенно закрепились в российском академическом дискурсе, если не в общественном сознании в целом. Эта очевидная лексическая конвертируемость предполагает нечто большее, чем растущую «глобализацию» (т.е. англоизацию) русского языка конца двадцатого века: на ином, более глубоком уровне она также вызывает размышления о масштабах межкультурного обмена, обусловленного тождеством целей у стороны, привычно-коротко именуемой «Западом», и её столь же гетерогенным другим –

Перевод Константина Беляева

Редакция благодарит Кэрол Эдлэм за разрешение на публикацию ее статьи из *Critical Theory in Russia and the West ed by Alastair Renfrew and Galin Tihanov* (London: Routledge, 2009). Мы также выражаем благодарность редакторам книги Алестеру Ренфрю и Галину Тиханову за разрешение на эту публикацию.

© Routledge, 2009

«Россией». Более того: направление, в котором движется этот межкультурный перевод (от английского заимствования – к русифицированной кальке), позволяет предположить, что весь комплекс идей, стоящих за западными терминами, также пропутешествовал на восток в ходе вполне беспроblemной культурной конверсии – дабы занять вакантное «демократизированное» пространство, возникшее после крушения советской идеологии. Кажущееся сходство этим не ограничивается – ибо, по общей для Запада и России иронии судьбы, российская манифестация феминизма сейчас, судя по всему, оценивается точно так же, как и его западная «точка отсчёта». К последнему десятилетию двадцатого века (временной интервал, рассматриваемый в рамках данной статьи – период от позднесоветского и постсоветского периода до наших дней) и современный западный «feminism», и современный российский *феминизм* [*feminizm*] были эпистемологически оспорены извне в их применениях и дефинициях, оказались относительно незащищенны (если не сказать больше – маргинализированны) в институциональном смысле и рассмотрены по многим позициям как неактуальные, и вышедшие из моды (если не хуже). Всё это только усугубляется тем, что как «feminism», так и *феминизм* [*feminizm*], похоже, разделили участь бедного родственника куда лучше воспринятой смежной области исследований – «gender studies», или в России – *гендерологии*.

Однако все эти сходства, сколь бы впечатляющими на первый взгляд ни казались, – не более чем поверхностны. Они маскируют гораздо более глубокие расхождения между двумя формами феминизма, наиболее очевидным из которых является то, что феминизм в России, учитывая размах российского сопротивления – многократно засвидетельствованного в различных источниках – всему, что десятилетиями составляло главные задачи западного феминизма, занимает пренебрежительно малое место по сравнению с теми масштабами, в которых он по-прежнему дискурсивно присутствует на Западе. Как заметила политолог и социолог Пегги Уотсон, именно нежелание воспринять признанные формы западного феминизма и «составляет феномен взаимодействия между Востоком и Западом» (Watson 1997: 22). Исходя из этого тезиса, в моём собственном кратком обзоре возникновения вестернизированного «феминистского» дискурса в позднесоветский и постсоветский период рассматриваются как неорганизованность и непоследовательность количественно ничтожных попыток его артикуляции, так и – более развёрнуто – замалчивание, сопротивление и враждебность, конституирующие сокрушительный отпор этим попыткам. Но всё это – лишь фон, тогда как главная цель данной статьи – не просто дать исторический отчёт об этих специфических манифестациях «нерасположения» к феминизму в России, сколь бы ощутимым ни было их воздействие на артикуляцию любого нынешнего феминистского проекта, но, скорее, рассмотреть (вслед за Уотсон) *артикуляцию* феномена «нерасположения» как такового – а также западный ответ на этот феномен – в качестве оснований для нового продуктивного феминистского знания.

Я хотела бы показать, что характерной особенностью первой половины 1990-х годов, явившейся следствием распада Советского Союза, стала ситуация, когда определенные формы *феминизма* [*feminizm*] и ответы на него очертили такие контуры модели межкультурного обмена, при котором «*feminism*» как феминизм [*feminizm*] дискурсивно функционировал в качестве химеры, зеркальной проекции, само существование которой, помимо открыто заявленных форм, обуславливалось, возможно, гораздо более враждебными конструкциями обмена власти и знания между двумя культурами.

Моё обсуждение основывается на двух следующих факторах, а именно – на внутренней противоречивости дефиниций и положения феминизма в англо-американском мире и в России, и на полных собственными парадоксами или, по меньшей мере, нестабильностью западных ожиданий развития феминистского дискурса как одного из закономерных следствий успешного перехода от командного типа советского государства к форме экономической либерализации и политической демократии. Я хотела бы доказать, что парадигма межкультурного родства, возникшая или, по крайней мере, предложенная Западом в этот период, радикально изменилась во второй половине 1990-х годов, и работы российских феминистских исследовательниц о феминизме и гендерных исследованиях ныне составляют неизученный и существенный вызов зеркальной, бинаристской парадигме, осуществляющийся в частности посредством введения неологизма *феминология*.

Необходимо заметить, что, хотя за последние два десятилетия в области славистских гендерных исследований, как в России, так и за её пределами, была проделана огромная работа, сами нарративы этого культурного взаимодействия обсуждались лишь в небольшом количестве случаев как российскими, так и западными аналитиками. Возможно, потому, что они присутствуют в имплицитной или непризнанной форме в общественном дискурсе. Тем не менее, несмотря на относительно периферийный статус феминизма в российском культурном дискурсе (усиливающаяся артикуляция феминизма в академической области в данном случае – не в счёт), главная и, возможно, доминирующая заинтересованность феминизма вопросами власти означает, что феминизм – идеальный проводник дискурса, позволяющий анализировать нарративы межкультурной передачи, сами по себе уже парадоксально подорванные эпистемологическими предрассудками относительно средств, источника, направления и временного распределения круговорота культурных знаний.

1.

Одна из наиболее примечательных черт современного западного (т. е. в основном англо-американского) феминизма – это глубинный внутренний кон-

фликт: как на уровне теоретического дискурса, так и на уровне практического движения. В каком-то смысле в этом нет ничего неожиданного: дебаты и колебания всегда были характерны для феминизма, учитывая, что его фундаментальной этической задачей со времени его возникновения в англо-американской и западноевропейской культурах в конце 1950-х годов и до нынешнего дня был анализ гендерных отношений именно как отношений власти. С этой точки зрения, дискуссионный статус феминизма – побочный продукт принципиального отторжения феминизмом любого эпистемологического единообразия или стабильности. С одной стороны, этот дискурсивный статус феминизма привел к появлению обширного междисциплинарного подспорья для него: феминизм стали рассматривать, вследствие этого, как «парадигмальный дискурс». С другой стороны, однако, зачастую болезненные и затяжные дебаты о его методологических определениях и применениях (включающих, что важно для данной статьи, обвинения универалистского феминистского проекта в коварном замалчивании этноцентризма) привели также к изнурительному ощущению эндемического спада, ощущению всезаполняющего междоусобного «напряжения» и «сильной тревоги» (см., например, Wiegman 1999 в отзыв на Gubar 1998; см. также Secor 2001). Кроме того, в последние годы феминизм пребывает в состоянии конфликта из-за того, что борясь за обеспечение институционализированной поддержки в академии, из-за повсеместного презрительного отношения к самому термину в культурной риторике и символике глобализации эпохи развитого капитализма он оказался в ней присутствующим лишь в качестве гротеска, самоуничтожающей инверсии гендерного дисбаланса власти. Более того, сейчас существует общепринятая маркировка нашей эпохи как «*пост*-феминизма». Этот термин трактует историческую специфичность манифестации феминизма в 1960-е годы (и далее) как программу социальной трансформации, что в конечном счете означает, что, подобно всем радикальным программам, феминизм несёт в себе семена собственного разрушения – или, по словам Терри Иглтона, своей собственной «встроенной устарелости» (Eagleton 1990: 33).

Российскому феминизму также свойственны многие из этих черт. Причины этого, однако, существенно отличаются от причин, обусловивших подобное отношение к феминизму на Западе. В то время как на Западе феминизм, проделавший сложную эволюцию в течение нескольких десятилетий («пост-»), может рассматриваться как вышедший из моды, в России он воспринимается просто как до сих пор сомнительный – из-за целого набора сложных, а порой и противоречивых, факторов, в число которых, помимо эндемичной культурной мизогинии, входит и тот существенный факт, что наследие советской идеологии в целом сильно проблематизировало весь ход социальных реформ. В особенности в первые годы посткоммунистической транзиции все социальные программы воспринимались как крайне тенденциозные за счет напоминания о советской эре – особенно по части сходства с марксизмом в концепции классового (гендер-

ного) сознания. Шаткое положение феминизма в России обусловлено также и распространённым восприятием феминизма как идеологического и теоретического импорта с Запада – взглядом, игнорирующим собственную сложную и долгую историю отношения России к гендерным вопросам. Восприятие феминизма (или недостаток такового) в России в начале 1990-х годов было, таким образом, обусловлено соединением двух идеологически противоположных обстоятельств, согласно которым, феминизм одновременно интерпретировался не просто как западный импорт, но ещё и как копирующий и воспроизводящий некоторые из худших методологических эксцессов советской (марксистской) идеологии.

В большинстве западных «эмпирических» отчётов о российском феминизме утверждается, что возникновение феминизма в России, как и в других странах Восточной Европы, было связано с утверждением формальных политических приверженностей этическим принципам гражданского общества. В случае с Россией это произошло с наступлением перестройки и гласности в середине 1980-х годов и сопутствовавшим этим процессам ослаблением ограничений на публичные обсуждения и публичные собрания. Несомненно, эта новая политика повлекла за собой качественные изменения; в результате в период с середины до конца 1980-х годов открытая феминистская программа могла уже быть свободно озвучена – что отчётливо контрастирует с фактом государственного преследования (примерно за полдесятилетия до этого) небольшой группы женщин, выпустившей «феминистский альманах» в *самиздате*.¹ Вторая половина 1980-х годов ознаменовалась ростом числа открыто феминистских проектов: например, в течение 1980-х – начала 1990-х годов возникло множество низовых феминистских организаций, наряду с возрождёнными «женскими союзами», или *женсоветами*, воссозданными Михаилом Горбачёвым в ходе его программы демократического возрождения. К середине 1990-х неофициальное феминистское движение достигло уровня институциональной стабильности – большей частью благодаря учреждению двух «центров» в Москве и Санкт-Петербурге (Центр Гендерных Исследований и Центр Гендерных Проблем соответственно). Эти центры сыграли исключительно важную роль в организации семинаров и конференций; одновременно осуществлялись не только переводы западных текстов (от де Бовуар и Фридан до Фуко, например), но и учреждались важные журналы, – такие как *Преображение*, *Женское чтение*, *Вы и мы*, *Все люди – сёстры* и *Диалог женщин*, многие из которых публикуются ныне на крупнейших Интернет-порталах наподобие проекта OWL (*Open Women Line*). На сегодняшний день масштабы присутствия и обращения феминистского дискурса в публичной сфере являются вполне экстенсивными: ведь в то же время появились возможности для получения западных грантов, направленных на установление прямых контактов с зарубежными исследователями и распространение информации, в основном посредством Интернета; наконец, в самое последнее время все терминологические барьеры должны предположительно вот-вот окончательно

пасть с публикацией *Феминистского словаря*. Учреждены университетские курсы; постоянно расширяется сеть неправительственных организаций (в 2001 г. было зарегистрировано около 30 000 женских групп – примечательный рост по сравнению с 5 000 в 1995 г.; см. Айвазова 2000; Scott et al. 1997: 4).² В свете сказанного может показаться, что всего через двадцать с небольшим лет после преследования четырёх женщин из группы «Мария» дело распространения феминистского проекта в России обстоит явно успешно.

Однако даже такой по видимости эмпирический обзор, который я попыталась здесь представить, сколь бы фактически точным он ни был, проблематичен сразу во многих отношениях. Более расширенный, уточнённый обзор истории феминизма в России должен, вероятно, учитывать наличие мощной традиции предфеминистской мысли в России до 1917 года, т. е. вполне мог бы начинаться с середины девятнадцатого века, когда дебаты по «женскому вопросу» стали главной темой для ведущих интеллектуальных и философских социально-демократических кругов того времени – не без помощи Николая Чернышевского, переведшего на русский язык автобиографию Жорж Санд (встреченную с громадным энтузиазмом), и влияния Джона Стюарта Милля (Хасбулатова 1993). Но даже если за исходную точку, с которой начинает развиваться узнаваемо-современный российский феминистский проект, принять период перестройки, продвигаться далее в промысливании этой традиции и ее возможностей следует, тем не менее, с большой осторожностью. В первую очередь, количественным достижениям последних лет суждено с неизбежностью столкнуться с существующим социальным контекстом. При обсуждении количественных показателей информации о феминистском дискурсе или практиках феминистского движения в России следует, например, помнить о том, что большая часть негородского населения России лишена доступа к Интернету (в 2006 г. всего около 16,5% населения РФ имело доступ к Интернету), а также о том, что Интернет способствовал усилению организованной преступности и, в частности, сексуальной эксплуатации и торговли огромным количеством экономически и социально незащищённых россиян (наиболее обширные группы которых составляют женщины и дети). Как замечает ведущая феминистская исследовательница Ирина Жеребкина,

Россия занимает первое место среди стран СНГ по проституции и торговле женщинами. Средства массовой информации открыто подтверждают роль женщины как «второго пола»; этому же способствует феномен *чернухи*, формирующийся через репрессивное отношение к женскому. Женское постсоветское тело становится не сексуальным, как в западной маркировке сексизма, а, можно сказать, «генитальным» объектом.

(Жеребкина 1999: 39)

Соображения ограничения доступа уместны также применительно к циркуляции информации через университетские курсы и Гендерные центры: в то время как колоссальная пропасть между западно-российскими метрополиями Москвы и Санкт-Петербурга и так называемыми регионами устранена путём учреждения нескольких университетских Центров и курсов в других городах – в частности, в Харькове (Украина), недавняя коммерциализация и приватизация сферы высшего образования ещё сильнее сужает влияние феминизма на тех, кто не обладает достаточными средствами. Таким образом, феминизм не только ограничен в своём применении – границы его влияния очерчивают сеть властных взаимодействий в самой России: между центрами и регионами, а также между теми, кто экономически ущемлён, и теми, кто экономически независим. И эти сети гораздо изошрённее, чем простая бинарная граница «Восток—Запад», традиционно заполняющая концептуальный горизонт российского сознания, которую можно все-таки пересекать: ведь эти сети неравенства намного превосходят по количеству и уровню концептуальных параметров традиционную границу «Восток—Запад». Например, отношения неравенства могут включать отношения между центром и регионами; между регионами; между «западной» и «азиатской» Россией; между северной и южной Россией, а также между контурами, описываемыми через религиозную принадлежность, и так далее. В этом смысле, феминизм может трактоваться как «символический капитал» лишь на самых ограниченных рынках обмена.

Более того, дальнейшее рассмотрение истории возникновения феминизма в позднесоветской России вскрывает присущую «феминизму» хрупкость даже в, казалось бы, наиболее стабильном его проявлении. Группа «Мария», опубликовавшая первый феминистский альманах, например, чётко дистанцировалась от секуляризма, преобладающего в западном феминизме, ибо все авторы альманаха за исключением Татьяны Мамоновой решительно отвергали западный феминизм и открыто выступали за русское православие (Мамонова 1980). Позднейшие проявления феминизма, ассоциируемые с ранним периодом перестройки, также вводили в заблуждение – вновь созданные *женотделы*, например, явились, по сути, осовремененной для конца 20 века версией правительственных «женских групп», учреждённых Лениным в 1919 году. Эти группы были упразднены в 1930 году, когда Сталин, как известно, провозгласил, что «женский вопрос» в СССР «решён», но впоследствии они опять возобновлены в форме *женсекторов*, а при Никите Хрущёве – в виде реконструированных женотделов, в чьи задачи входила пропаганда официальной поддержки женского участия в политическом аппарате (см. Мельникова 2000; см. также Raccipri and O’Sullivan 2000: 209–15). Политическая неадекватность женотделов горбачёвской эпохи, повсеместно рассматривавшихся как сеть для распределения продуктов во время особенно острого продуктового дефицита в конце 1980-х гг. (Посадская 1993: 10), по сути, стимулировала организацию ведущей неофициальной низовой группы,

известной как «LOTOS» (*Liberation from Sexual Stereotypes*, Освобождение от Сексуальных Стереотипов) – особенно после того, как женотделы оказались неспособны заявить протест против различных актов политических репрессий, осуществленных горбачёвскими войсками в конце 1990 – начале 1991 годов в Грузии и Литве (см. Константинова 1994: 65). Кроме того, к созданию «LOTOS'a» привела также парадоксальная и неадекватная реакция горбачёвского правительства на проблему (хотя и, по крайней мере, открыто признанную государством) расхождения между официальной ориентацией советского проекта на эгалитарное общество и многократно документально подтверждённым культурным и политическим двойным стандартом, приведшим к тому, что «двойное бремя» тяжёлой домашней работы и официальной производственной было возложено именно на женщин ([без автора] 1991). Пресловутым решением этой проблемы Горбачёвым стало его обещание «вернуть женщин к их женской миссии», т. е. провести институциональные реформы, которые должны будут стимулировать женщин перестать быть рабочей силой и «вернуться домой». Данная политика являлась проблематичной по следующим двум соображениям: не только потому, что не учитывалась экономическая реальность, принуждавшая многих мужчин и даже ещё большее количество женщин нести множественное бремя нестабильных, низко оплачиваемых работ просто для того, чтобы выжить, но, при этом, ещё и легитимизировалась новая «ортодоксия», сеявшая «старые патриархальные “истины” о сущностном отличии женщин – лучше всего приспособленных к уходу за детьми и воспитанию – от мужчин» (Marsh 1997: 17).³ Именно группа «LOTOS» способствовала проведению международной конференции в Дубне в 1991 году (события, как теперь принято считать, возвестившего о возникновении независимого феминистского движения в России), в ходе которой сформировалась новая группа, известная как *Независимая женская демократическая инициатива*. Учреждённая 24 июля 1991 года Анастасией Посадской и известная под акронимом «НеЖДИ», группа, фактически, открыто дистанцировалась от слова «феминизм» – якобы для того, чтобы не ставить ограничений для потенциальных участников (Молюнеух 1991);⁴ основательницы «НеЖДИ», включая Посадскую, впоследствии учредили Московский Центр Гендерных Исследований.

В последующие постсоветские годы, при правительстве Ельцина, как бы появились дальнейшие свидетельства роста восприятия лексикона феминистских активисток наряду с официальным заявлением, содержащимся в «Указе №337 президента Российской Федерации от 4 марта 1993 года». За ним последовала «Выдержка об улучшении статуса женщин в Российской Федерации» – публикация, вышедшая после Национальной конференции «О женщинах и развитии: права, реальность, перспективы» (Москва, 13—14 декабря 1994 года). Создатели документа консультировались относительно содержащихся в нём формулировок с Посадской и другими представительницами Московского Центра Гендерных Исследований. Тем не менее эти достижения носили преходящий характер,

подтверждением чему являлся крайне низкий уровень женского политического участия, за особым исключением Галины Старовойтовой, убитой в 1998 году (см. Константинова 1994). Более того – с этого времени многие группы, идентифицировавшие себя как женские в категории НПО (неправительственных организаций), были порождены и мотивированы соображениями не гендерного, но правозащитного порядка; в числе наиболее влиятельных из таких групп – антивоенные лобби, возникшие в ответ на советское вторжение в Афганистан и действовавшие в позднейшие периоды российских военных действий в Чечне. Ранние манифестации *феминизма*, таким образом, стали возможны вопреки, а не благодаря мнимо демократическим программам позднесоветского периода. Более того, эти группы, подпадающие под обширную категорию «женского движения», во многих случаях открыто дистанцируются от феминизма.

Очевидное усиление феминистских и гендерных взглядов в ранний постсоветский период следует также рассматривать в контексте подавляющей, эндемической враждебности феминизму и проблематике гендера, от которых продолжают едва ли не ритуально открещиваться выдающиеся представители культуры, включая ведущих женщин авторов, таких как Нина Садур, Татьяна Толстая и даже Людмила Петрушевская. Подобные отзывы озвучивались даже теми, кто стремится сформулировать нарождающийся феминистский дискурс, обычно в форме обострённого предчувствия либо сверхчувствительности к проблеме, представляющей собой ассимиляцию в высшей степени проблематичного западного дискурса. Как заметила Зоя Богуславская,

Если сравнить то, что подразумевают под термином «феминизм» американские женщины и что мы, русские женщины, мы придём к несколько парадоксальному заключению: они определённо устремлены в направлении, куда мы решительно не хотим идти. Они хотят быть самодостаточными, независимыми от мужчин [...] Но наши женщины, прежде всего, хотят комфорта и покоя.

(Богуславская и Токарева 1993: 53)

На протяжении этого периода общим местом является определение российского феминизма через контраст и противопоставление (часто слишком упрощённое) западному. В поздне- и постсоветский период эта установка артикулировалась из теоретического лексикона «либерального» (в противоположность радикальному) феминизма, обычно почерпнутого из примера североевропейских стран (этот геополитический референт часто используется в России в качестве приемлемого передаточного средства для модуляции межкультурного переноса). Проведение конвенционального бинарного деления между частной/приватной и публичной/производственной сфер для различных полов, позволявшее ранним феминисткам выступать с призывами к равенству возможностей и обязанностей, не оспаривает эссенциальное основание данной модели. Концепт «приватной

сферы», столь значимый для западных феминистских теорий, основанных на первичности и государственной неприкосновенности дифференциации опыта, продолжал замещаться или артикулироваться на равных с идеей ещё большей верности понятию коллективного блага (Темкина 1994, 1996; Ходырева 1996). Это конституировало неразрешимый парадокс в раннем дискурсе «вестернизированного» русского феминизма и явно ощущается в запутанных аргументах таких исследовательниц, как, например, Анна Темкина, которые в своих презентациях западного феминизма чувствуют себя обязанными многократно отвергать распространённый взгляд, согласно которому новый «дискурс» *феминизма* конституирует отрицание приватного и домашнего в пользу сферы публичного. Как откровенный ответ советскому времени, официально отвергающему все, выходящее за рамки функции коллективности, Темкина написала, например, что «многие известные феминистки любили, были любимы, имели детей», одним из следствий чего явилась, конечно, реактивация антитезиса таких публично и приватно «успешных» феминисток, чья «приватная» или домашняя успешность была важна не столько сама по себе, сколько выступала как подтверждение их служения публичному или коллективному благосостоянию (Темкина 1994: 53). Стремясь избежать подобных упреков, Темкина попыталась обсудить форму феминизма, отрицая, что это был на самом деле «феминизм», противостоящий «женскому движению»; другая исследовательница написала, что «при первом же серьёзном знакомстве с феминизмом становится ясно, что он не противостоит стремлению к женственности» (Брандт 1996: 72). Подобные заявления напоминают о ситуации, в которой российские феминистки оказались в начале – середине 1990-х годов, оказавшись втиснутыми, между, с одной стороны, заимствованными идеями о феминизме, т. е. между стереотипами о «неестественности» почти советского типа приверженности публичному в ущерб «естественности» осуществления приватности, и, с другой стороны, столь же гнетущей идеей индивидуалистического сексуального гедонизма или других форм морального банкротства (одна исследовательница написала, например, что в феминистках подозревали шпионов ЦРУ; см. Константинова 1994: 64). Подобные заявления представительниц российского феминизма, особенно в ранние годы транзиции, эффективно подрывали их собственную артикуляцию феминизма или просто представляли феминизм в качестве идеологической пропаганды «расстройства» или «предательства» своего гендера в форме лесбиянства или маскулинизации (см. Goscilo 1993: 233–8; Забадыкина 1996).

Таким образом, в начале 1990-х предубеждение о враждебности сформировало репрезентацию феминизма уже на стадии его артикуляции. Отрицательные культурные образы, ассоциируемые с феминизмом в России, были столь ненавистны, что постоянно порождали тщательно оговоренные оправдания при каждой малейшей артикуляции предполагаемо феминистской мысли – вплоть до намеренно противоречивых утверждений. Более того, способы, которыми на

этой стадии определялась и артикулировалась сфера приватного, принадлежали к арсеналу средств, усиливавших государственный контроль. Подобные формы феминистского дискурса не подвергали сомнению дискурсивные или властные коды, транспонированные и трансформированные в новые государственные структуры периода транзиции и посттранзиции (Gal 1997: 35). Сопrotивление концепту «гендера» полностью отвечало указанному отношению; лишь небольшая горстка представителей академии (особенно Посадская, а также Татьяна Клименкова, Игорь Кон и Ольга Воронина) утверждали перед лицом многочисленной оппозиции в только что возникшем феминистском лагере, что принятие или использование термина «гендер» может предложить альтернативные средства для анализа социальных основ дифференциации половых ролей (см. Римашевская 1992).

2.

Имеются определенные причины для того, чтобы модели, подобные моему фрагментарному, «эмпирическому» обзору, прослеживающему рост феминистской мысли и активизма в России в период непосредственно после перестройки и далее, должны рассматриваться с осторожностью. Недостаточность подобных обзоров, однако, не обусловлена ни неизбежно сжатым по временам фактическим содержанием, ни факторами терминологии и статистики, но, в гораздо большей степени, признанием «развития» результатом определённой политической модели межкультурного взаимодействия, в которой пример западной культуры – и, в особенности, фундирующие её идеологии гражданского общества – имплицитно служит моделью для обществ в транзиции. Другими словами, как замечает Пегги Уотсон в её блестящем рассмотрении данного вопроса, подобная модель основана на ложных ожиданиях (Watson 1997: 28–9). В ней феминизм, хотя и занимает лишь небольшой контркультурный уголок культурного нарратива, становится симптомом не просто успешной трансплантации гражданского общества, но функционирует в качестве одной из важных вех культурного «путешествия» России к просвещению. Гласность сама по себе служила его существенным индикатором: многие комментаторы рассматривали феминизм как полномасштабный признак нового «гражданского общества» — сделавшего возможным, среди прочего, собственно феминистскую дискуссию. Это игнорировало тот факт, что гласность была обусловлена, прежде всего, не абстрактными желаниями граждан участвовать в гражданском обществе, но, скорее, горбачёвской попыткой замедлить постоянно ускорявшийся темп начавшегося *de facto* распада политической инфраструктуры Советского Союза – прежде всего на национально-этнической почве. Мнимая «свобода выражения» в публичном дискурсе была предложена в качестве компромисса – в надежде сохранить целостность советской политической инфраструктуры.

Более того, подобная гражданская модель также предполагает и описывает модель развития во времени как траекторию успешного и видимого показательного роста с момента успешной трансплантации. Таким образом, предложенная модель роста западного феминизма через серию «волн» стала явным или неявным эталоном для измерения манифестаций феминизма в России (см. Мельникова 2000). Как пишет Нора Юнг, «предполагается, что переходу от плановой экономики к рыночной экономике должен соответствовать переход от стадии борьбы за женские права к более продвинутой – и более желательной – стадии феминистской политики» (1994: 946). *Феминизм [feminizm]*, таким образом, должен пройти серию «стадий» или «волн», предписанных ему англо-американским феминизмом [feminism].

Эта нарративная модель не только обходит молчанием исторические обстоятельства артикуляции российского феминизма (а также условия возникновения процесса «демократизации» как такового), но ещё и игнорирует тот факт, что западные «демократии» неразрывно связаны с механизмом непрерывно расширяющихся капиталистических систем, апогеем которого является капиталистическая глобализация. Таким образом можно сказать, что предлагаемая нарративная модель феминизма – «нарратив» не просто цивилизации, но, в конечном счёте, глобальной модернизации: это нарратив вечного искупления, в котором феминизм, даже будучи контркультурным дискурсом, в конце концов лишь утверждает условия общества, в котором он возникает, демонстрируя демократическую основу этой культуры – как культуры, разрешающей дискурсы несогласия. В этой модели возникают различные мифы межкультурной передачи знаний: миф о том, что Россия запоздало пытается следовать схеме, успешно опробованной Западом; о том, что подобная схема свидетельствует об историческом прогрессе; о том, что недавние политические преобразования в России создали необходимые условия для возникновения «феминизма». Более того, гражданскому государству соответствуют определенные ожидания в отношении «приватности» и прав личности; гласность, опять-таки, часто интерпретировалась как импульс, обеспечивающий трансформацию в отношениях между индивидуумом и государством, в которых должно найтись место расширенному и значительно усиленному концепту «приватного» – в сравнении с его прежним, отвергнутым и всецело подчинённым положением относительно «публичной», или государственной сферы. Среди этих ожиданий, хотя и занимая далеко не центральное положение в большинстве западных комментариев, присутствовало понятие о скором возникновении «низового» [grassroots] феминистского проекта, который хотя бы частично займёт место слишком всеобъемлющей, спонтанно возникшей программы борьбы за права человека, т.е. проекта, основанного на оппозиции «индивидуальное» – «приватное» (Gal 1997). Данные ожидания не учитывали экономические и властные отношения, регулирующие доступ к новым «гражданским структурам» (в области литературы, например, публикация для

женщин-писательниц оставалась затруднённой, несмотря на отмену цензуры в период пост-гласности, так как доступ к средствам публикации контролировали преимущественно мужчины). Цитируя Уотсон,

При государственном социализме общество было исключено как целое [...] В либеральном гражданском обществе граждане исключены относительно друг друга – так, как было невозможно при коммунизме. Т.е. сама демократия привносит в гендерные отношения новую, по своей сути разделяющую политическую силу.

(Watson 1996: 26–7)

Эта модель создания нового «гражданского пространства» также не учитывает непреложную важность примата концепта коллективности (выражаемого то как *народность*, то как *соборность*) над индивидуальным – идеи, не исчезнувшей с крушением коммунистической идеологии, но, напротив, усилившейся через повсеместное открытое утверждение русского православия (см. Воум 1995). В целом, эта односторонняя модель передачи знаний утверждает Россию – как уже не раз бывало в её истории – как *tabula rasa*, лишённую собственной истории в этой конкретной области; Россия позиционируется как непокорный и трудный партнёр в отношениях опекунов, странствия на пути к «просвещению», точные условия которого заданы раз и навсегда западным культурным канонам.

Если взглянуть на то, как российский феминизм обсуждался в англо-американских академических кругах, станут видны следы этой модели в выражениях разочарования и тревоги из-за наблюдаемых «провалов» или непоследовательности в артикуляции феминистской программы в России. Во многих обзорах абстрактные идеи гражданского общества и демократии рутинно выводятся из признания экономических, материальных основ циркуляции *феминизма* [*feminism*]. Эта логическая неадекватность, возможно, нигде не манифестируется так наглядно, как в исследованиях, касающихся происхождения и значения гласности (как «гиногласности») и в следующих, ныне ставших почти ритуальными выражениями разочарования от непрекращающегося сопротивления российского общества феминизму, или от «неспособности» понять его правильно (см. Heaton 1997, 64; см. также характерные примеры подобных комментариев в: Holmgren 1995: 15–16). Поразительно, что при всём внимании, уделяемом неослабевающей культурной враждебности к феминизму, столь мало внимания было уделено конкретному обсуждению конкретных текстов и идей самих современных российских феминисток. Даже в тех областях культурных или литературных исследований, где феминистская терминология либо теория вводятся целенаправленно и сознательно, до сегодняшнего дня нет почти ни одного упоминания о российском феминизме *per se*, за исключением революционного исследования Велери Сперлинг о женских группах периода транзиции (Sperling 1999).⁵ Первоначально данное отсутствие со стороны западных исследователей могло быть

объяснено существовавшей трудностью обзора и доступа к крупным и даже средним [российским] изданиям (у большинства феминистских публикаций был крошечный тираж даже по постсоветским стандартам, и многие какое-то время продолжали пользоваться техникой *самиздата*).⁶ Следующий анонимный комментарий подытоживает ситуацию:

Фундаментальные темы российских гендерных исследований – критика социальной политики, проблемы труда, профессиональной занятости, социальной защиты женщин, проблема женского участия в политике. [...] Большинство российских исследовательниц не работают ни в категориях анализа различных западных социальных теорий (психоанализ, конструктивизм, постструктурализм и т. д.), ни в рамках феминистской парадигмы. Российских «гендеристов», идущих до конца по пути осмысления и переосмысления западных социальных теорий и включённых в глобальную феминистскую дискуссию, крайне мало.

([без указания автора] 2000; выделено мною)

Кроме того, западный критический фокус, по понятным причинам, сместился, скорее, в сторону рассмотрения *перипетий* массовых, нормативных культурно-политических конфигураций гендера и их социальных последствий в недавних экономических сдвигах, чем в сторону пропорционально незначительных и спорадических случаев сомнительного «феминистского» сопротивления доминантной культурной риторике (Goscilo and Holmgren 1996).

Однако именно в сочинениях и работах российских феминистских исследовательниц, начиная с середины 1990-х, обнаруживаются возражения, а то и открытое отрицание подобной модели. Одной из наиболее первых предтеч этих ранних попыток артикулировать терминологию «гендера» явилась статья А. И. Посадской, Н. И. Римашевской и Н. К. Захаровой «Как мы решаем женский вопрос», опубликованная в журнале *Коммунист* в 1989 году (Посадская и др., 1989) и продолжающая её статья Татьяны Клименковой «Феминизм как культурная позиция» (1993). Обе статьи содержали аргументы в пользу интерпретаций гендера как ключевой социальной конструкции, а также, в случае текста Клименковой, детальное и изощренное изложение ключевых понятий западной феминистской теории и фукианского анализа власти. Более того, это растущее увлечение критической теорией привело к соответствующему обсуждению категорий «приватной» и «публичной» сфер (см. Ушакин 1998: 6), что, в свою очередь, представляло собой серьёзный вызов эссенциалистским либерально-феминистским взглядам, артикулированным в поздние годы гласности и перестройки.

Один из наиболее интересных подходов к обсуждению гендера в российском обществе – подходов, помимо всего прочего, избегающих тенденции под-

держивать заданный моделью базис/надстройка концепт тела как биологической *tabula rasa*, на которой осуществляется запись различных политических и социальных функций – был представлен в статье Клименковой «Что наша новая демократия предлагает обществу?», опубликованной в 1994 году. Аргументы Клименковой базировались на общем тезисе о том, что российская культурная символика основана на глубоко предписанных тропах, репрезентирующих культуру и нацию как телесные и, как следствие, гендерные сущности. Клименкова распространяет эту догадку на отношения между современной Россией и Западом, доказывая, что посткоммунистическая экономическая модель России стремится отвергнуть коммунистическое и предсоветское отождествление России с женским началом (через такие тропы, как «мать родная Русь») и мистической восточной идеологией и заменить его моделью западной культурной активности, которая конфигурируется преимущественно как рациональная и утвердительная, то есть, по мнению Клименковой, как мужская. С точки зрения Клименковой, эта фундаментальная гендерная ассоциация лежит в основе постсоветского восприятия как «западных» посткоммунистических экономических стратегий, так и репрезентативных стратегий «постмодернистской эстетики», поскольку она подразумевает отказ от коммунизма, но продолжает патриархальность (то, что Посадская в другом тексте назовет «постсоветским патриархальным ренессансом» [Посадская 1994: 4]). С этой точки зрения, посткоммунизм как социально-экономическая стратегия чреват громадными эстетическими последствиями, так как зиждется на тайном отрицании всего, связанного с женским. Клименкова описывает роль постмодернистской эстетики и характерную для неё акцентуацию тела как средоточия преимущественно сексуальной деятельности следующим образом:

Проблема отношений между полами обсуждается сейчас *ad pauseam* – но не со структурно-гендерных позиций [...] Это достигается путём замены гендерных проблем сексуальными, посредством утверждения, что сексуальность является чисто физиологической. Таким образом, секс сейчас играет роль средства, при помощи которого на обсуждение гендерных отношений налагается табу.

(Клименкова 1994: 31)

Клименкова настаивает на том, что истоки «кризиса» посткоммунистической России лежат не в социологической, но в репрезентативной сфере, в силу чего «странная» «текстуально-политическая» деятельность наших постмодернистов направлена на упразднение из повседневного употребления всего, что могло бы напомнить о том, что кризис этой страны – кризис «гендера» (Клименкова 1994: 19). Вопрос о гендере, таким образом, начал рассматриваться в российском феминистском дискурсе как центральный компонент культурной символики, в которой и тело, и его репрезентации служат метонимиями более об-

ширной культурной идентичности. Итак, гендер для Клименковой, был не просто побочным продуктом «специфических социальных отношений», подкреплённым концепцией биологических половых детерминант, но, скорее, глубинным символическим стереотипом, моделирующим все концепты идентичности – от индивидуальных до культурных.

Здесь Клименкова расширила пределы российского феминизма: не просто анализируя феминизм как политическое движение, но рассматривая самоё политику – как манифест и открытое выражение культурного позиционирования – как кардинально структурированную гендерными моделями. В этом смысле феминизм становится мета-герменевтикой культуры: посткоммунизм определялся отныне через инверсию (гендерного) культурного позиционирования – в то время как посткоммунистическая российская культурная риторика позиционировала нацию как агрессивную и маскулинную, а не пассивную и женственную. В представлении Клименковой это происходило в процессе гиперсексуализации культурных продуктов, не только усилившем, но, что важнее, *натурализовавшем* крайнюю маскулинизацию, помещая её, таким образом, за скобки обсуждения.

Неэссенциалистские, постструктуралистские аргументы Клименковой открыли новую веху в артикуляции российской феминистской теории, обеспечив переход к новейшим, более логически усложненным теоретическим подходам, диссемилируемых преимущественно через журнал *Гендерные исследования*, учреждённый в 1998 году. В серии статей Ирины Жеребкиной, прямо продолжающей исследования Клименковой и позднее опубликованных в виде книги (Жеребкина 2003b), выдвигается аргумент о «перформативности» конструкта гендера в поздне- и постсоветской России. Аргумент Жеребкиной основывается на том факте, что западный и российский феминизм являются кардинально различными. Она базирует этот тезис, во-первых, на утверждении о том, что в Советской России не существовало различия между биологическим и эссенциалистским «полом» и гендером. В то время как западный феминизм предлагал гендер в качестве социально-конструктивистской модели, призванной освободить женщин и общество от эссенциалистских, то есть биологических поло-ролевых детерминаций, в советской идеологии, по мнению Жеребкиной, просто не существовало предопределённости «биологической» концептуальной базы «пола», против которой конструктивистский, эмансипирующий «социальный» концепт гендера мог бы быть артикулирован. Наоборот, женское в СССР всегда дискурсивно конструировалось как *a priori* социальное, а не биологическое:

если в западной культуре первый феминистский порыв эмансипации женского был связан с желанием освобождения от «биологического» (как функции «естественного предназначения» женщины в семье и женской репродуктивной сексуальности) и стремлением к «социальному» (как новой, социальной реализации женщины в

обществе), то в тоталитарном Советском Союзе, можно сказать, и не было этого самого «биологического». ... парадоксом по сравнению с Западом является то, что в советской тоталитарной культуре в трактовке пола вместо «биологического» преобладало «социальное» – в частности, знаменитый социальный конструкт *homo soveticus*, где биологические характеристики были заменены идеологическими...

(Жеребкина 2003b: 51-52)

Это означает, по мнению Жеребкиной, что российский феминизм просто не мог начаться из той же теоретической позиции, с которой начался западный, для которого позднейшие постструктуралистские аргументы в пользу гендера как дискурсивно сконструированного концепта в понимании женского были обусловлены отказом от биологического эссенциализма. Жеребкина экстраполирует это утверждение и дальше, доказывая, что следствия такого понимания дискурса российского феминизма являются субстанциональными. Если выразиться проще, ее тезис состоит в том, что российский феминизм не может развиваться из западного феминизма. При этом отнюдь не по причине некоторых особых, так называемых «националистических» причин! Но потому, что непосредственные исторические обстоятельства, из которых он развивается (и к которым, в конечном счёте, эффективно нас отсылает), подразумевают, что «открытие» того факта, что гендер является социально сконструированным понятием, не вытекает для российского феминизма из западного (хоть изнутри, хоть после него), но является той исходной точкой, из которой сам российский феминизм и начинается. Другими словами, в России «перформативный», или дискурсивно-конструируемый гендер всегда присутствовал, по мнению Жеребкиной, в официальной сверхидеологии государства и, следовательно, не мог быть с готовностью поставлен на службу эмансипаторному дискурсу российского феминизма. Это и есть та основная противоположность по отношению к западному феминизму, в котором концепт «гендера» развился из самого феминистского дискурса. Жеребкина применяет свой тезис также и к области литературы, утверждая, что современное российское женское письмо (помещающее в фокус своего внимания сексуальный объект) отличается от западного женского письма за счет настаивания на биологическом и физиологическом модусах женского как отрицании публичного в пользу приватного (Жеребкина 2003a: 4).

Анализ Жеребкиной расширяется также и на сферу «гендерных исследований» как академической дисциплины. В знаменательной дискуссии с тремя ведущими академическими гендерными исследователями, включая знаменитого сексолога Игоря Кона, а также Наталью Пушкарёву и Темкину (чьи взгляды существенно изменились по сравнению с теми, которые она выражала в середине 1990-х), Жеребкина задает вопрос одновременно как о западном взгляде на феминизм в России, предположительно возникшем в период гласности, так и о нарративе нерелексивного местного восприятия этого процесса междукуль-

турного переноса. На мой взгляд, эта дискуссия о роли «гендерных исследований» в России проливает свет на тот факт, что в то время, как сам «гендер» в начале 1990-х был все еще максимально дискуссионным термином (на Западе), в академическом дискурсе советской эпохи термин «гендерные исследования» фигурировал в качестве вполне уважаемого дискурса в дебатах, подтверждающих «решенность» так называемого «женского вопроса». В результате «гендерные исследования» были, выражаясь экономическим языком, «продуктивно» реассимилированы в постсоветский период, когда смогли, специально для Запада, надеть маскарадную личину «феминистских», на самом деле оставаясь, фактически, «перестраховочными» и консервативными в российских кругах. Пушкарёва подытоживает реальные экономические и социальные последствия этих процессов «переработки терминов», замечая, что на определённой стадии процесса, после десятилетий маргинализации,

принадлежность к сообществу гендерологов стала стремительно, но неявно *превращаться в символический капитал* (Бурдьё), едва стало ясно, что слово «гендерный» «в нашей юной, прекрасной стране» может и не иметь никаких феминистских коннотаций, что в российском контексте оно абсолютно безопасно (в отличие от термина «*феминистский*»), да к тому же [...] может давать определенные преимущества в научной среде и явные выгоды при получении западных грантов (равняется: осязаемый материальный профит!). Понятие «гендерные исследования» оказалось куда как более конформным и приемлемым для научного сообщества, нежели термин «женские исследования». [...] И, конечно, честь и хвала тем, кто бесстрашно именуется в нынешней ситуации специалистом в области «женских исследований»

(Пушкарёва в Жеребкина и др. 2000: 17-18)

Дискуссия далее переходит к перечислению способов, с помощью которых полисемия терминологии в обновлённой апроприации гендера может также скрывать различно именуемые или различно конфигурируемые отношения власти в других сферах, поскольку, как предполагает Жеребкина, «гендерные исследования» как дискурс могут сыграть роль амбивалентного симптома новых перераспределений власти в бывшем СССР (наравне с сексуализацией постсоветских масс-медиа, литературы, повседневных практик и т.п.) (Жеребкина и др. 2000: 12).

Неслучайно это обсуждение терминологического скольжения в эпоху глобализированной экономической идеологии начинается с (и постоянно вращается вокруг) вопроса об отношениях между российским *феминизмом* [*feminizm*] и западным феминизмом [*feminism*], так как именно в этой дихотомии и состоит, как оказывается, пафос российской феминистской дилеммы. Как написала в

2004 году Марина Носова, кажущаяся неизбежной нестыковка между российским феминизмом и его западной сестрой глубоко проблематична: российские феминистки вынуждены не только справляться с тяжёлым экономическим и социальным положением, но и сталкиваются с серьёзной эпистемологической проблемой постольку, поскольку они пишут не только после «крушения Великого Нарратива феминизма и кризиса феминистской идеологии», но также вынуждены говорить и писать

как бы «из вне», то есть из тех пространств, где феминизма нет – «из вне» феминистской идеологии, «из вне» феминистской политики. Наш голос не принадлежит хору голосов женщин третьего мира, мы обнаруживаем себя деколонизированными, не испытав ига колонизации.

(Носова 2004: 235)

Таким образом, российский феминизм бесконечно выступает не просто как запоздалый аутсайдер в давно разбалансированной концептуальной дихотомии «Запад/Восток», но также как «претендент» на – по определению Носовой – «онтологический статус (лишённой прав) женщины», неспособной ни говорить из позиции объекта феминистского анализа, ни присвоить место субъект-позиции внутри феминистского дискурса. Здесь Носова заимствует модель «номадического дискурса» Розы Брайдотти, замечая, что постфеминизм начинается тогда, когда маргинализованные другие начинают говорить из периферийных пространств, критикуя феминистский мейнстрим-дискурс. И этот факт, как утверждает Носова, может быть принят во внимание самими российскими феминистками:

Собственно, постфеминизм и начался с момента самокритики, когда феминистская мысль проблематизировала свои собственные обоснования. Более того, самокритика стала тем знаковым ресурсом феминистской субъективности, который был привлечен и задействован именно с периферии феминистского дискурса посредством актуализации в дискурсе маргинальных субъектов. Именно маргинальные субъективности и вышли на авансцену феминизма [...] Не стоит ли нам, постсоветским исследовательницам, реализовать эту стратегию ... ?

(Носова 2004: 240)

Этот же вопрос также адресован Жеребкиной в ее интервью с Темкиной, Пушкарёвой и Коном, каждый из которых ищет собственные способы оспорить концепт бинарной дихотомии «Запад-Восток». В то время как Темкина рассматривает данный вопрос как возможность обсудить неизбежно неопределённое отношение российского феминизма к также пребывающей в состоянии

«неупорядоченности» постсоветской социальной теории, и Пушкарёва, и Кон критически рассматривают данную устойчивую «концептуальную дихотомию» как таковую. В частности, Пушкарёва оспаривает стереотип «Запад-Восток», отбрасывая представление о российской «отсталости» в отношении западной теории, не соглашаясь с тем, что российский феминизм импортировал западные достижения «пассивно», в качестве набора «достижений», а не утрат – в том числе

большую связность и меньшую разобщенность [...] преобразование «чужого» [...] в «своё» – в том числе и в виде разработки новых категорий (например, «социальная феминология», «историческая феминология» вместо «women's studies» и «women's studies in history»)

(Пушкарёва в Жеребкина и другие 2000: 14)

Здесь мы подходим к моменту, когда вызов, брошенный концептуальной дихотомии «Запад-Восток», меняет теперь и сам концептуальный язык, вписывающий оказавшуюся фундаментальной «непереводимость» западного феминизма в различные русские неологизмы, наиболее выдающимся из которых явился, конечно, неологизм «феминология». Кон идёт в этом направлении еще дальше, заменяя бинарную дихотомию «Запад-Восток» понятием множественной «мозаики», в которой сам дискурс феминизма может быть вообще очень редко артикулируем или концептуально не значим (Кон в Жеребкина и другие 2000: 28). Вопрос Жеребкиной о значении и функции концептуальной дихотомии «Запад-Восток» в отношении дискурса феминизма значим не только из-за ответов, которые он вызывает, но и сам по себе – как знак искушенной осведомленности о том, что это не просто концептуальный или лингвистический, но ключевой герменевтический концепт, транслирующий и кодирующий концептуальные границы и даже иерархии межкультурного переноса. Именно здесь, как показывает и пример Кона, посредством альтернативных моделей структурной циркуляции могут быть найдены новые вызовы традиционному трансферу знания.

Словенский философ Аленка Зупанчич в статье в *Гендерных исследованиях* делает еще один шаг в продвижении этой новой парадигмы межкультурного трансфера, выдвигая тезис о том, что сегодня уже недостаточно рассматривать в аналитических терминах отношение между Западом и Востоком только как на динамику взаимных зеркальных утрат, когда каждая из сторон утрачивает своего «другого». Напротив, Зупанчич утверждает, что основные утраты имели место в каждой из «сторон» этой концептуальной границы, поскольку то, что рухнуло, было не просто идеологией одной из сторон, но, скорее, общей «конstellацией двух параллельных систем» (Зупанчич 2004: 29). Для Зупанчич именно этим крахом утопий в отношении другой стороны внутри каждой из систем и объяс-

няется чувство взаимного «разочарования»: пространство, оказавшееся доступным в каждой из сторон, оказалось не нейтрально «пустым», но заполненным продуктами смерти символической репрезентации «другого».

3.

В заключение мы можем увидеть, что пути, пройденные в рассматриваемый период феминистским дискурсом в России, игнорируют либо нарушают привычно транслируемую парадигму одностороннего и запоздалого трансфера феминистской теории и идей между «Западом» и «Россией». Данная парадигма может показаться актуальной только с точки зрения Запада: так, мало кто на Западе, как среди славистов, так и среди других исследователей, усматривает в официальном, магистральном дискурсе постсоветской России что-либо иное, кроме чрезвычайно тревожного возрождения дискурса маскулинности (убедительный язык цифр свидетельствует об эндемической сексуальной эксплуатации девушек и женщин – и, разумеется, легкоуязвимой группы детей в целом – а также о фактическом размахе российской торговли людьми по всему миру). Некоторые западные исследователи – конечно, весьма немногие – внимательно прислушиваются к переменам в политической, социальной и культурной (символической) репрезентации; ещё меньше исследователей «доклаживают» западной аудитории о реальном объёме работы российских исследователей в указанной области феминизма и гендерных исследований. Таким образом, в соответствии с привычным представлением о культурной трансмиссии от Запада к России, лишь немногие западные исследователи совершают по-настоящему когнитивные путешествия в отношении России. Но даже те, кто отваживается на подобные путешествия, как мы видели, неосмотрительно могут отправиться в этот путь с багажом представлений о западном превосходстве, с искушением представления об определённой «развивательной» траектории, позиционирующей Россию как нерадивого ученика, опекунов над которым обречено на неудачу – капризного подчиненного «другого» по отношению к нормативному «я» западной цивилизации, «разочарование» в котором отныне может быть высказано вполне открыто – пренебрегая, по словам Роба Уилсона, рамками, в которых «возможно – и даже желательно – представлять не-западную культуру посредством синтаксиса, терминов и нарративов [...] западной культуры» (Wilson 1991: 220).

Однако отношение российского феминистского дискурса к своему западному визави демонстрирует нечто, выходящее за границы указанной привычной парадигмы, что, возможно, наиболее точно сформулировано в обсуждавшемся выше тезисе Зупанчич. Напомним его: с распадом одной из идеологических систем предположительно зеркальные взаимоотношения между двумя гегемониями перестали существовать просто потому, что их и не было. Не этот

ли факт может объяснить и тот, отмеченный мною выше, что ассимиляция западной феминистской теории или практики, с точки зрения большинства российских исследовательниц, – задача, в лучшем случае, не первостепенная? Хотя безусловно надо отметить, что в начале 1990-х существовал короткий промежуток времени, когда российские феминистки оглядывались на Запад в поисках теоретической и экономической поддержки центров и журналов, учреждавшихся ими вне рамок академических и политических инфраструктур (которые сами пребывали в кризисном состоянии). Однако сейчас российские феминистки находятся в процессе артикуляции основ такой феминистской мысли, которая отвечала бы сложному контексту современности в целом, а не была бы ни эрзаком западных «женских исследований», ни пресловутого советского идеологического «решения» так называемого «женского вопроса», которое в академическом дискурсе было закреплено в понятии «гендерные исследования» («гендерология»). Сейчас понятно, что российский феминизм возникает из совершенно других философских оснований, чем западный (не из отказа от «биологического» в пользу «социального», например), и что его задачи сейчас – совершенно иные, а именно: продолжать утверждать феминизм в сложных условиях новых форм маскулинности и социального исключения. Взаимоотношения с западной феминистской теорией, как показывает журнал *Гендерные исследования*, не воспринимаются ни в духе опекуновства, ни, напротив, отрицания западного феминизма (отказываясь от раннего ложного восприятия его как дискурса мужененавистничества – мизандрии). Сегодня российская феминистская теория, взаимодействуя со своим западным партнёром, пытается делать это так, чтобы одновременно демонстрировать, что российский феминизм [*feminizm*] – хотя и не произошёл от западного – однако формируется на пути их неоднократно пересечения; что он возник из собственных условий и истории и двигался по траектории, которая была достаточно противоположной по отношению к траектории развития западного феминизма.

Последствия обнаружения этой концептуальной особенности интеллектуального взаимодействия двух феминистских дискурсов чрезвычайно существенны, так как если мы с должным вниманием отнесёмся к мнениям российских феминисток об их собственных подходах к дискурсу феминизмов, у нас появится, возможно, шанс обрести историческое понимание ситуации и действительно, как считает Жеребкина, бросить вызов западной феминистской теории с тем, чтобы не отрицать, а развивать ее дальше – в том числе, и за счет более пристального внимания к феминистскому опыту России. Более того: осмысливая уровни и условия циркуляции интеллектуального обмена между двумя регионами и рассматривая его вне модели односторонней «передачи» с Запада к «одариваемой» культуре, мы можем преодолеть парадокс простого дискурсивного заимствования и, следовательно, усиления (пусть имплицитного) властной патерналистской модели межкультурных взаимодействий для того, чтобы попробовать все-таки

описать дискурс, основное предназначение которого и состоит в анализе именно гендерных модусов власти.

- 1 Татьяна Мамонова, Юлия Окулова (Вознесенская) и Татьяна Горичева преследовались КГБ за публикацию в самиздате феминистского журнала («Альманах женщинам о женщинах. Выпуск 1. 10 декабря 1979 г.»; в английском переводе – «Women and Russia. First Feminist Samizdat», 1980). Мамонова эмигрировала в Соединённые Штаты, где опубликовала несколько сборников (см. библиографию).
- 2 Пример существенного и важного онлайн-присутствия – сайт OWL (Open Women Project): на www.owl.ru. Статистика приведена в: Айвазова (2000).
- 3 О гендерных несоответствиях, выявленных этой широко распространённой политико-экономической проблемой, говорил Борис Ельцин, в разное время выпустивший несколько указов в соответствии с Конвенцией ООН о правах женщин, принятой в Найроби (и подписанной Россией в 1988 г.). Конвенция, утверждающая право женщин на работу, явно противоречила программе, принятой Горбачёвым. См. например, «Указ президента Российской Федерации №337» (1993). При Путине также была выпущена серия правительственных документов, касающихся гендерной политики; Российская Федерация подписала несколько международных (в том числе принятых под эгидой ООН) документов, касающихся прав женщин. Многие из этих документов доступны на www.owl.ru/win/docum/index.htm (проверено на 9 марта 2007 г.).
- 4 Манифест «НеЖДИ» заранее отвергает обвинения в социальном и институциональном бунтарстве, подчёркивая нацеленность группы на «повышение роли [sic] семейных ценностей в обществе» (128). Несмотря на этот поверхностный консерватизм, «НеЖДИ» объединила несколько феминистских групп наподобие «LOTOS» и «САФО» («Свободная Ассоциация Феминистских Организаций»), находившихся тогда в зачаточном состоянии; кроме того, многие из её главных участниц впоследствии весьма активно действовали в других, не менее важных инициативах, включая Центры Гендерных Исследований в Москве и Санкт-Петербурге. См. также Waters 1993; Константинова 1994.
- 5 Единственное исключение – публикация в английском переводе сборника под редакцией Анастасии Посадской «Women in Russia: A New Era in Russian Feminism»; пер. Кэйт Кларк (London: New York: Verso 1994). В то время как организация конференций и учреждение Гендерных Центров периодически документировались (см., например, «Soviet Women Hold Their First Autonomous National Conference». *Feminist Review*, 39 [1991]), единственное встретившееся мне упоминание их работы в контексте теоретической дискуссии – в работе Хелены Гошило «Расколдовывая пол» (Helena Goscilo's «Dehexing Sex»). Обзор Гошило содержит краткое и необходимое контекстуальное исследование резко неблагоприятных обстоятельств, в которых

россияне формулируют всякий будущий феминистский дискурс; однако обсуждение сущности самой их работы выходит за рамки её исследования (1991: 48–9).

- 6 Например, в 1988 г. Ольга Липовская издала всего 30 экземпляров первого выпуска журнала «Женское чтение».

Библиография

- Айвазова Светлана. (2000) *“Второй пол” и женское движение в России*, *Вымы: Диалог женщин*. 37-9.
- Богуславская З. и Токарева В. (1993) *“Отношение к феминизму в России”*, *Преображение*. 53-6.
- Брандт Галина (1996). *‘Феминизм и российское сознание’*, в Жукова (ред.) 1996: 71-3.
- Дегтярева О. и Панкова А. (ред.) (1992) *‘Феминизм. Проза, мемуары, письма. Перевод с английского’*, Москва: Прогресс. Литера.
- Варфалви Л.Ф. (1995). *‘Современная женщина: проблема признания и эго реализации’*, в Тишкин (ред.) 1993: 36-42.
- Воронина Ольга (2001). *‘Гендер’*, *Женщина плюс*, 2: без номеров страниц.
- Габриэлян Нина (1993). *‘Взгляд на женскую прозу’*, *Преображение*. 102-8.
- Жеребкина Ирина (1999) *‘Двойная ловушка демократии: постсоветский феминизм между универсализмом и локализацией’*, *Гендерные исследования*, 2: 37-47.
- (2003a) *‘О перформативности женского, или литературные бригады как факт развития постсоветской литературы’*, *Гендерные исследования*, 9: 1-24.
- (2003b) *‘Гендерные 90-е, или Фалоса не существует’*, Санкт Петербург: Алетея.
- Жеребкина И., Пушкарева Н., Кон И. и Темкина А. (2000) *‘Обсуждение темы “Проблемы и перспективы развития гендерных исследований в бывшем СССР”*’, *Гендерные исследования*, 5: 8-42.
- Жукова Юлия (ред.) (1996) *‘Феминистская теория и практика. Восток-Запад’*, Санкт Петербург: Санкт Петербургский Центр Гендерных Проблем.
- Забадыкина Елена (1996) *‘Круглый стол “Феминистки, лесбиянки... что общего?”*’, в Жукова 1996: 304-6.

- Зупанчис Аленка (2004) *'По ту сторону фантасматического зеркала'*, Гендерные исследования, 12: 28-30.
- Клименкова Татьяна (1993). *'Феминизм как культурная позиция'*, Преображение, 3-9.
- (1996). *'Женщина как феномен культуры'*, Москва: Преображение.
- (2002). *'Феминизм'*, Женщина плюс. 3.
- Кочкина Елена (2000). *'Парадоксы всемирной истории'*, Вы Мы (спецвыпуск) [без номеров страниц].
- Липовская Ольга (1989). *'Феминизм или издержки эмансипации'*, Женское чтение, 1: 57-73.
- (1993). *'Что такое феминизм?'*, Феминф. 3 [без номеров страниц].
- Мельникова Т.А. (2000). *'Женское движение в России: традиции и инновации.'*, Москва: Мысль.
- Носова Марина (2004). *'Феминизм/постфеминизм: локальные смыслы глобального дискурса'*, Гендерные исследования, 10: 235-41.
- Посадская А., Римашевская Н. и Захарова Н. (1989). *'Как мы решаем женский вопрос'*, Комунист, 4: 56-65.
- Пушкарева Наталья (2000). *'Между тюрьмой и хаосом. Феминистская эпистемология, постмодернизм и историческое знание'*, в Элизабет Шор и Каролин Хайдер (ред.) *Пол. Гендер. Культура. 2.* Москва: Университет Фрайбурга: Российский Государственный Гуманитарный Университет. 221-9.
- Санкова К.А. (1998). *'Функциональная роль гендерных исследований в переходном российском обществе'*, в Е.И. Ярская-Смирнова (ред.) *Социокультурный анализ гендерных отношений: Сборник научных трудов.* Саратов: Издательство Саратовского университета. 170-6.
- Секор Лаура (2001). *'Гендерная тревога. Кто боится гендерных исследований в Восточной Европе?'*, Гендерные исследования, 6: 216-30.
- Темкина Анна (1994). *'Либеральный феминизм и мистика женственности'*, Все люди сестры, 3: 50-9.
- (1996). *'Многоликий феминизм'*, в Жукова (ред.) 1996: 6-15.
- Тишкин Г.А. (ред.) (1993). *'Российские женщины и европейская культура'*, Санкт Петербург: РАН: Фонд им. М.В.Ломоносова.
- Хасбулатова О. А. (1993). *'Западно-европейские идеи о равноправии полов и женское движение в России'*, в Тишкин (ред.) 1993: 38-9.

- Ходырева Наталья (1996). 'Непереносимость различий. Все люди – сестры', 5: 31-7.
- Ушакин Сергей (1998). 'Пол как идеологический продукт: о некоторых проявлениях в российском феминизме', Преображение, 5-16.
- [Без автора] (2000) 'Женские миры – 99. Западный опыт и гендерные исследования в России', www.owl.ru [accessed October 2005].
- [Без автора] (1993) 'Указ Президента Российской Федерации №337: О первоочередных задачах государственной политики в отношении женщин', Все люди – сестры, 1-2:8.
- Boym Svetlana. (1995) 'From the Russian Soul to the Post-Communist Nostalgia', Representations. 49 (Special Issue: Identifying Histories: Eastern Europe Before and After 1989): 133-66.
- Eagleton Terry (1990). 'The Significance of Theory', Oxford: Basil Blackwell.
- Funk Nanette (1993). 'Feminism: East and West', in Funk and Mueller 1993: 318-30.
- Funk N. and Mueller M. (eds) (1993). 'Gender Politics and Post-Communism', London and New York: Routledge.
- Gal Susan (1997). 'Feminism and Civil Society', in Scott, Kaplan and Keates (eds) 1997: 30-40.
- Goscilo Helena (1993). 'Domostroyka or Perestroyka? The Construction of Womanhood in Soviet Culture under Glasnost', in Thomas Lahusen with Gene Kuperman (eds), *Late Soviet Culture: From Perestroyka to Novostroyka*, Durham. NC and London: Duke University Press. 233-55.
- (1996). 'Dehexing Sex', Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Goscillo H. and Holmgren B. (eds) (1996). 'Russia. Woman. Culture', Bloomington. Indianapolis: Indiana University Press.
- Gubar Susan (1998). 'What Ails Feminist Criticism?', *Crucial Inquiry* 24(4):878-902.
- Heaton Julia (1997). 'Russian Women's Writing – Problems of a Feminist Approach with Particular Reference to the Writing of Marina Palei', *Slavonic and east European Review*, 75. 63-85.
- Heldt Barbara (1994). 'Feminism and the Slavic Field', *The Harriman Review*, November. 11-18.
- Holmgren Beth (1995). 'Bug Inspectors and Beauty Queens: The Problem of Translating Feminism into Russian', in Ellen E. Berry (ed) *Postcommunism and the Body*

- Politic*. London and New-York: New-York University Press. 15-31.
- Jung Nora (1994). 'Importing Feminism to Eastern Europe', *History of European Ideas*. 19:845-51.
- Klimenkova Tatiana (1994). 'What does our New Democracy offer Society?', in Posadskaya (ed) 1994: 14-36.
- Konstantinova Valentina (1994). 'No Longer Totalitarianism. But Not Yet Democracy: The Emergence of an Independent Women's Movement in Russia', in Posadskaya (ed) 1994: 14-36.
- Mamonova Tatiana (1984). 'Woman and Russia: Feminist Writings from the Soviet Union', Oxford: Blackwell.
- (1989). 'Russian Women's Studies: Essays on Sexism in Soviet Culture', Oxford: Pergamon.
- (1994). 'Women's Glasnost vs. Naglost', Westport, Connecticut and London: Bergin and Garvey.
- Mamonova Tatiana et al. (eds) (1980). 'Woman and Russia: First Feminist Samizdat', London: Shaba Feminist Publishers (циркулировал в самиздате как *Альманах женщиныам о женщинах*, выпуск 1. 10, декабрь 1979).
- Margolis Diane Rothbard (1993). 'Women's Movements around the World: Cross-Cultural Comparisons', *Gender and Society*. 7(3): 379-99.
- Marsh Rosalind (1997). 'From Problems to Strategy? Impressions of the Second Independent Women's Forum in Dubna'. *Rusishka*, 5: 16-21.
- Molyneux Maxine (1991). 'An Interview with Anastasya Posadskaya', *Feminist Review*, 39: 133-40.
- Posadskaya Anastasya (1993). 'Current problems in Russian Gender Studies', in Marianne Liljestroem, Eila Maentysaari, Arja Rosenholm (eds), *Gender Restructuring in Russian Studies*. Tampere: University of Tampere, 267-71.
- (ed.) (1994). 'Woman in Russia: A New Era in Russian Feminism', London and New York: Verso.
- Posadskaya-Vanderback Anastasya [formerly Posadskaya] (1997). 'On the Threshold of the Classroom: Dilemmas for Post-Soviet Russian Feminism', in Scott 1997: 373-82.
- Racioppi L. and O'Sullivan See K. (2000). 'Organizing Women Before and After the Fall: Women's Politics in the Soviet Union and post-Soviet Union', in Bonnie G. Smith. (ed.) *Global Feminism since 1945*. London and New York: Routledge, 205-34.

- Rimashevskaya Natalia (1992). 'The new Women's Studies', in Mary Buckley (ed.), *Perestroika and soviet Woman*. Cambridge: Cambridge University Press. 118-22.
- Scott Joan W., Kaplan Cora and Keates Debra (eds) (1997). *Transitions. Environments. Translations: Feminisms in International Politics*, London: Routledge.
- Sperling Valerie (1999). *Organizing Women in Contemporary Russia: Engendering Transition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Tsing Anna Lowenhaupt (1997), 'Transitions as Translations', in Scott W., Kaplan Cora and Keates Debra (eds) 1997: 253-72.
- Waters Elizabeth (1993). 'Finding a Voice: The Emergence of a Women's Movement', in Funk and Mueller (eds) 1993: 287-302.
- Watson Peggy (1997). 'Civil Society and the Politics of Difference in Eastern Europe', in Scott W., Kaplan Cora and Keates Debra (eds) 1997: 21-9.
- Wiegman Robin (1999). 'What Ails Feminist Criticism: A Second Opinion', *Critical Inquiry*, 25(2): 362-79.
- Wilson Rob (1991). 'Theory's Imaginal Other: American Encounters with South Korea and Japan', *Boundary 2*. 18(3): 220-41.
- [no author] (1991) 'Feminist Manifesto – "Democracy without Women is No Democracy": A Founding Document', *Feminist Review*. 39: 127-32.